



В. МОНАХОВ



ПОЧВА

В. МОНАХОВ

ПОНЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ЮРИДИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА“

МОСКВА • 1964

О ЧЕРК

посвящен благотворному влиянию советской действительности на правонарушителя. Заключение Палкин бежит из колонии. Оказавшись на свободе, он испытывает чувство радости, но постепенно осознает свое положение человека вне общества, и радость уступает место тревоге и одиночеству. Палкин видит большие изменения, происшедшие за два года в жизни окружающих его людей. Чужой всему и всем, он, наконец, решает возвратиться в колонию, чтобы честно отбыть свой срок наказания и выйти на свободу полноправным членом общества.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ОН БЕЖАЛ из колонии ранним январским утром. Его послали вместе с тремя другими парнями разгружать вагон дров. Сказав ребятам, что отойдет по нужде, он вскочил в проходивший мимо товарняк и через несколько часов был уже в городе.

Свобода! Долгожданная и неожиданная свобода! Все в нем ликovalo. Радужные надежды кружили голову. Теперь все было так просто, ведь главное — свобода! — у него уже есть. Стоит лишь руку протянуть и... Да что там! Все будет как в сказке.

Нет, ему несколько не совестно перед майором, который вчера разговаривал с ним, направляя на работу без охраны.

— Не подведешь, Палкин? — спрашивал майор, глядя ему в глаза. А сам, наверное, думал: «Какой смысл ему бежать: остался всего год, а там он может надеяться на условно-досрочное освобождение. Ведь за два года у него ни одного замечания».

— Железно, гражданин начальник! — отвечал Палкин, растягивая рот в улыбке, и думал: «Знаем мы вас! Не год, а все четыре у вас отбухаешь. Вам тягло надобно? Так меня — увольте!»

Но майор поверил ему, и вот он на свободе.

«Как иголка в сене!» — ликоваo он, пробираясь среди вагонов товарной станции, а потом в толпе железнодорожных рабочих, одетых в такие же, как и у него, замасленные телогрейки. Он даже не думал, куда идет, просто шел, наслаждаясь полной, как ему казалось, абсолютной свободой, такой желанной, что от одной мысли о ней дух захватывало и сладко ныло под ложечкой.

Над головой ласково сияло белесое январское небо. Под ногами свежо искрился и весело скрипел снег. Щеки пощи-

пывал легкий мороз. Дышалось легко и хотелось петь. Он и не заметил, как вышел на привокзальную площадь.

Все здесь было ему знакомо. Вот магазин, где он когда-то покупал себе модную тенниску, на молнии, в красную с желтым клетку. Вот пивной ларек, у которого летом толпились «любители»; сейчас он закрыт. А вот продовольственный магазин — сюда он нередко заскакивал после работы в поисках компаньона: «Разольем?». Здесь и колбасу покупал, мягкую, вареную — любительскую. Как давно он не пробовал колбасы!

И вдруг он почувствовал, что рот его наполняется прохладной и пресной, как парзан, влагой, что под ложечкой поет уже не сладко, а тоскливо, и мороз начинает забираться под ветхую одежку. Он был голоден.

Да, он был голоден, но это были сущие пустяки в сравнении с тем, чем он овладел, — свободой, такой свободой, какой, казалось ему, он еще никогда не знал: в детстве опекали и допекали родители, школа, потом надо было работать; теперь же он был совершенно свободен. «Как птица!» — подумал он.

Так он шел по своему родному городу, в котором прошла его недолгая, но уже основательно запутанная жизнь. Ближе к центру дома становились все выше, шум все нарастал, и вот он оказался на перекрестке двух больших оживленных улиц, лицом к лицу с немолодым регулировщиком, который, как показалось Палкину, пристально и подозрительно его разглядывал. Он остановился и снова почувствовал, как защемило под ложечкой, а в голове вместо радужных запрыгали тревожные мысли: «Что теперь делать? Бежать? Догонят. Соврать? Не поверят. Как же быть?» Но в это время милиционер заученно взмахнул палочкой и величественно повернулся в другую сторону. Он и не заметил Палкина.

Напрягшееся, как для прыжка, тело обмякло, к коленям подступила противная дрожь, но Палкин, преодолевая ее, с независимым видом, не спеша перешел улицу и двинулся дальше.

Теперь уже чувство свободы не владело им безраздельно. Ему казалось, что прохожие слишком внимательно его рассматривают. Он боялся, что среди них окажется знакомый, который узнает его. Запахи, волнами наплывающие из столовых, булочных, кондитерских, вызвали у него головокру-

жение. Он переулками обходил перекрестки улиц, опасаясь снова встретить милиционера.

Куда же он шел? Ему пришлось задуматься. И невольно припомнилась где-то услышанная фраза: «Недорого стоит свобода без куска хлеба за пазухой и без крыши над головой».

Нет, он не был чужим в этом городе. Он мог не задумываясь назвать десятки адресов, где жили его знакомые, друзья, родные, но... Близость этих людей почему-то не успокаивала, не радовала, даже не ослабляла нарастающее чувство заботы. Он не мог пойти к этим людям. Больше того, не хотел бы встретить их даже случайно, потому что они знали: он осужден, и сейчас, в этот самый момент, должен находиться там, за колючей проволокой, а не здесь на асфальте их родного города, чистом асфальте, слегка припорошенном январским снежком. Увидев его, они обязательно задали бы ему вопрос, в ответ на который надо показывать документы. А их у него не было.

Так бродил он по городу час, другой, третий, уже не испытывая радости, а лихорадочно думая о том, как утолить голод и где провести наступающую ночь. Улицы между тем становились все более пустынными, и вполне можно было нарваться на патруль дружинников или на милиционера, который мог подумать: «Кто такой этот подозрительный гражданин, без видимой причины разгуливающий по городу морозной январской ночью?»

Наконец, он свернул в подъезд, показавшийся ему наиболее уютным, поднялся на два лестничных марша, убедился, что поблизости никого нет, и, распахнув телогрейку, прильнул животом к радиатору отопления. По телу растеклось живительное тепло. В ногах забегали мурашки. Потянуло ко сну...

Он, наверно, так и продремал бы всю ночь, если бы внизу не хлопнула дверь и не раздались голоса. Испугавшись, он отпрянул от радиатора и выскочил на улицу мимо двоих покосившихся на него стариков, тяжело поднимавшихся по лестнице.

На дворе вывездило. Мороз окреп. Каждый шаг гулко, то скрипом, то цокотом, разносился по пустынной улице, кое-где переметенной снегом. Редкие фонари как бы сторожили тишину и пустоту этой улицы. Вокруг не было ни души. Но и сейчас Палкин испытывал то же гнетущее чувство настороженности, которое не оставляло его после встречи с мили-

дионером. А голод все назойливее сверлил желудок. Необходимо было что-то предпринять.

Когда через арку ворот перед ним раскрылся темный зев двора, он нырнул туда, как днем нырнул в товарный вагон. Ощущения были очень схожи, но он не задумывался над этим, а сразу же усталился в угол двора, где на втором этаже тускло светилось кухонное окно и через полуоткрытую форточку его свешивалась набитая бумажными свертками сетка. Это была явно сетка с продуктами, иначе совсем ни к чему было вывешивать ее на мороз.

Все тревожные переживания покинули Палкина. Он остался один на один с привычным охотничьим чувством, всегда овладевавшим им, когда он видел плохо положенный кусок. И Палкин стал уже спокойно и деловито осматриваться и оценивать обстановку. Во дворе никого не было. Свет в кухне не погашен явно по забывчивости хозяев. Выждав несколько минут, он приблизился к стене.

Но тут им овладело раздумье. Раньше ему никогда не приходилось красть вот так: по нужде, с голоду. Впрочем, нужда, конечно, была, но не в хлебе, а в выпивке, в посещении ресторана, в компании, за которую нужно платить. И раньше, снимая часы у пьяного или вытаскивая деньги из сумочки зазевавшейся домохозяйки, он никогда не думал о тех людях, у которых крал. Он не мог представить себя в их положении. А сейчас, голодный, почему-то думал о той семье, которую он намеревался лишить завтрака. В общем, ему не хотелось брать эту сетку. Получалось так: в прошлом, когда не был голоден, он крал, а теперь когда голоден, ему красть не хочется. «Что же это такое? — подумал он. — Может быть, я боюсь?» Его уже, конечно, разыскивают, и кража, если о ней заявят в милицию, натолкнет розыск на след. Это он понимал. Но все-таки главное было не в этом. Страх он испытывал и в прошлом, но тогда захватывало дух, как на качелях — и страшно, и сладко. Теперь было другое, еще неизвестное ему: тупой страх перед воровством, страх перед необходимостью украсть.

Но что же делать? Голод уже привел его на край обморока. «Значит, опять красть, — подумал он, — красть и сегодня, и завтра, и всегда, а потом снова тюрьма?»

Так он стоял под окном, привалившись к холодной стене, дрожал и чувствовал, что может упасть. Сейчас, ночью, пойти к знакомым? Нет, он не мог. Встряхнувшись, еще раз огля-

делся по сторонам и полез по водосточной трубе к окну. Через минуту сетка была в его руках.

Пустынной улицей он пробежал два квартала, заскочил во двор и по приставной лестнице забрался на чердак старого дома. Около дымохода было темно, тепло, пахло глиной, дымом и кошками. Дрожащими руками он раскрыл сетку, развернул свертки и, не очистив, стал совать в рот колбасу, тонко нарезанный сыр, сливочное масло. Это действительно был завтрак какой-то семьи...

Покончив с едой, он привалился к дымоходу и уснул.



ДЕНЬ ВТОРОЙ

СЕРОЕ УТРО заглядывало на чердак через полукруглое окно, когда Палкин проснулся. Ныла шея, болела спина. Он сразу вспомнил все: и побег и блуждание по городу, и сетку с продуктами — она лежала рядом. От снеди остались обрывки бумаги. Теперь это были лишь улики. Скомкав их, он разгреб в углу песок и закопал сетку и бумагу. Но это не успокоило.

Сел на балку, задумался. Голода он уже не испытывал, но на душе было тяжело и мутно. От радостного чувства свободы не осталось и следа. По-прежнему перед ним стоял выбор: или пойти к родным, или... Об этом не хотелось думать.

Так он сидел, пока не прожгла мысль: на улице рассветает и скоро нельзя будет выйти с чердака незамеченным. Он бросился к окну и осторожно выглянул наружу: деревянная лестница убегала вниз, во дворе никого не было. Не теряя ни минуты, Палкин спустился на землю и вышел на улицу. Редкие прохожие спешили на работу. Деловитой походкой, засунув руки в карманы, зашагал по улице и он. Куда?..

Ему снова становилось легко и даже немного радостно. Вот он идет по своему родному городу, свободно шагает, как раньше, а это чего-нибудь да стоит. Это ведь и есть свобода: иди, куда хочешь, делай, что задумаешь. Впрочем, он еще ничего не сделал, если не считать сетки — будь она неладна. Тоже мне — «дело»!

Он прошел одну улицу, другую и оказался на городском бульваре, где стояли припорошенные снегом скамейки. Здесь когда-то он часто гулял с компанией; каждый уголок тут был ему знаком и мил. Мил ли? Вон в том углу началось... Перед ним, как наяву, встала картина.

...Уже погасли вечерние фонари, тускло горели в пожелтевшей листве лишь редкие, дежурные. После очередной попойки, протрезвившись, но с пустыми карманами и пустым желудком брел Палкин по бульвару. Хотелось выпить, выпить во что бы то ни стало. Увидел он тогда в этом углу на земле скорчившуюся фигуру: добротное драповое пальто, ботинки на каучуке, очки в золотой оправе. Слышался богатырский храп. На руке блестели часы. «Бухой. Богатенький!» — злобно подумал Палкин и огляделся по сторонам. Вокруг никого не было, только за изгородью по тротуару торопливо простучали женские каблучки. Сорвать часы — дело одной секунды. «У него не убудет!» — успокоил он себя и быстро зашагал дальше.

На другой день было на что опохмелиться, а вечером он угощал друзей в ресторане.

Потом завертелось: кража — попойка, попойка — кража, пока не опомнился на скамье подсудимых. Нет, он не осудил тогда себя — его осудили. И ни искры раскаяния не вызвал в нем приговор — он и после суда считал, что «у них не убудет», что просто ему не повезло. «Уси крадут», — повторял он про себя фразу, вычитанную из книги, в которой все герои были причастны к спекуляции золотом и занимались ею долгие годы. Это утешало.

Таким он и прибыл в колонию: замкнутым, когда его пытались вызвать на откровенность, циничным и насмешливым, когда среди сотоварищей заходила речь о совести, долге, честности.

Впрочем, в колонии к нему особенно и не придирались. На свободе он после семилетки года три работал слесарем сначала в депо, потом на автобазе и, наконец, в мастерских горкомхоза. Ему все равно было, где работать, лишь бы побольше платили. Но за три года он привык к труду и в колонии без разговоров ходил на работу, куда посылали. И порядка он не нарушал, даже поступил учиться в восьмой класс, когда на него поднажали. Однако по-прежнему считал себя не виновным, а несчастным человеком, которому «не повезло» в жизни. К администрации колонии, к режиму, к работам, к воспитанию, которое было там организовано, он относился равнодушно, а иногда и со злобой, повторяя с чужого голоса разные «жалобные» слова об «эксплуатации» заключенных. Эти слова, произносимые с надрывом, с выкриком, глушили другие мысли и чувства, которые

иногда пробуждались в нем. Глушили, несмотря на то, что он понимал: какая уж тут «эксплуатация», если многие так «стараются», что не отрабатывают даже хлеб, которым их кормят.

Так он проболтался в колонии два года.

Он хотел лишь одного: скорее вырваться на свободу, к своей прежней, «веселой», как он говорил себе, жизни.

Таким он и оказался на свободе, но не по закону, а вопреки ему...

Бульвар кончился; Палкин вышел на одну из центральных улиц города. И снова, как вчера, ему стало не по себе, снова казалось, что прохожие слишком внимательно его разглядывают, а милиционеры подозрительно провожают взглядом. «Не мотнуться ли из города?» — подумал он. Нет, жизнь бродяги страшна. И он решил: «Надо идти к Василию».

Василий был его старший брат — самый родной ему человек. Правда, у них никогда не было особой дружбы. Василий давно обзавелся семьей, лет десять работал на автозаводе мастером и звал Федора, своего единственного брата, «Пепутевым». Впрочем, он жалел его, рано оставшегося сиротой, и даже помогал в трудную минуту. Почему бы ему не помочь и теперь, ведь брат же...

Василий жил недалеко. Пробежать три квартала было делом пяти минут, и вскоре Палкин уже стоял у знакомой, обитой потрепанной клеенкой двери коммунальной квартиры. Сколько раз в прошлом он крутил ручку этого ржавого звонка, и всегда ему было не по себе, потому что он всегда приходил сюда просителем или обиженным, часто с горем, но никогда — с радостью. Радостью он делился с другими. Почему-то он понял это именно сейчас, когда брат был ему нужнее всех других людей на свете. Дрожащей рукой он крутанул звонок.

За дверью было тихо. «Наверное, на работе, а ребята в школе», — подумал он. Ему стало тоскливо, спазма подступила к горлу. Не стоять же тут до вечера! Он еще несколько раз покрутил звонок. Тогда за дверью послышался скрип, шарканье и щелкнул замок. В полуоткрытую дверь выглянула незнакомая старуха.

— Чего тебе? — прошамкала она, недоверчиво оглядывая посетителя.

— Мне бы Василия Ивановича, — с надеждой проговорил Палкин.

— Нет у нас таких, — ответила старуха, собираясь захлопнуть дверь. Но Палкин ухватился за ручку и с мольбой прокричал:

— Бабушка, здесь он жил, брат он мне!

Старуха еще раз оглядела его, сказала: «Обожди», захлопнула дверь и ушла.

Что бы это значило? Ошибиться он не мог — это тот самый дом и та квартира. Вот только старуха незнакомая, но здесь много семей, и всех не запомнишь. Пока он раздумывал, дверь снова приоткрылась.

— Жил здесь такой, Палкин Василий Иванович, да переехал с год назад, — в щель сказала старуха, явно намереваясь удалиться. Но Палкин не мог допустить этого.

— Бабушка, — говорил он, — куда уехал-то, брат ведь...

Старуха опять оглядела его, сказала: «Погоди» и закрыла дверь. Он явно не внушал ей доверия.

Снова потянулись томительные минуты. Наконец, дверь распахнулась, и вышла женщина средних лет, видимо, дочь старухи.

— Василий Иванович в Черемошниках теперь живет, — сказала она. — С год тому назад уехал, новую квартиру получил. Вот адрес оставил. — И она протянула смятую бумажку. На ней было написано карандашом: «Садовая, дом 23, кв. 45». Палкин долго разглядывал бумажку — не мог понять, что означает слово «Черемошники», и не знал такой улицы — Садовой.

— Это новый район у нас, вроде московских Черемушек, — ответила женщина на вопрос Палкина. — Да разве вы не здешний?

— В отъезде был, — пробурчал Палкин, поблагодарил женщину и вышел на улицу. «Пока сидел, целый район выстроили, — подумал он. — Где же они могут быть, эти Черемошники?»

Спросить он боялся — это могло вызвать подозрение. Вдруг внимание его привлек автобус с надписью «Вокзал — Черемошники». Он стал искать остановку, но вспомнил, что у него нет ни копейки денег. В колонии денег на руки не выдавали.

Когда автобус подошел к остановке, Палкин увидел на нем странную надпись, сделанную красными буквами: «Автобус работает без кондуктора». Что бы это могло значить? Он с любопытством заглянул внутрь машины, опасаясь войти. Автобус тронулся. Палкин остался на тротуаре. Он ни

как не мог сообразить, как оно получается — без кондуктора. Но пока он ждал следующего автобуса, в его сознании постепенно восстановилось и связалось в единую картину все, что он видел через окно автобуса. Одна из женщин вынула сумочку, покопалась в ней и опустила что-то в ящик. Другой пассажир что-то оторвал и протянул руку, очевидно, передавая ей билет. «Опусти монету — оторви билет, — подумал Палкин. — Вроде как автомат. Хитро придумано». А можно ведь и не опуская деньги оторвать себе билет...

Подошел автобус, и он вскочил на подножку. В машине было много народу.

Пробравшись туда, где потеснее, Палкин начал демонстративно копаться в карманах. Расчет был прост: пока он «ищет» деньги, эти пассажиры сойдут или забудут о нем. А сейчас ему казалось, что воп та дама с хозяйственной сумкой очень внимательно посматривает на него и вот этот старик с длинным лицом, опершийся на палку, следит за его руками, которые шарят по карманам.

— Граждане, приобретайте билеты. Проездные предъявляйте соседу, — проговорил репродуктор около самого уха. Стало совсем не по себе. Палкин начал понемногу пробираться к выходу.

«Вот сейчас пристанут, поведут в милицию, а там...» — подумал он, и ему сделалось совсем плохо. Почувствовав противную дрожь в коленях, он опустился на освободившееся сидение и обреченно уставился в пол. Будь, что будет.

Между тем никто и не думал приставать к нему, на него просто не обратили внимания. Прошло пять, потом десять минут. Автобус плавно катил своей дорогой, изредка поскрипывая тормозами, пассажиры входили и выходили. За окнами уже стали появляться новые дома, окруженные белым кружевом зимних деревьев. Палкин начал с интересом поглядывать в окно, слегка затянутое морозными узорами. Напряжение спало, и странное чувство овладело им. Казалось, что он мчится по сказочно красивому незнакомому городу, а кругом близкие, добрые, родные люди, которые верят ему и желают добра. И было бы совсем хорошо, если бы он мог прямо и честно посмотреть им в глаза. Но он обманывал их, был не тем, за кого его принимали. С таким чувством он почти задремал, когда из репродуктора донеслось:

— Конечная остановка — Черемошники. Автобус дальше не идет.

Палкин встрепенулся и вышел из машины.

Это была широкая прямая улица пятиэтажных белокаменных домов, посредине которой протянулся бульвар — огороженная аллея молодых тополей. Они были так молоды и сильны, эти тополя, что побеги ветвей их, как стрелы, торчали в разные стороны, а широкие листья не смог убить даже январский мороз, и они кое-где еще висели на ветвях свернувшиеся, но не потерявшие зеленой окраски.

Черемошники! Ведь он же часто бывал здесь в детстве. Зимой ходил на лыжах, а летом с ватагой ребят совершал набеги на огороды и играл в зарослях кустарника «в войну». Здесь была городская свалка, затем шел глубокий и длинный овраг, переходить который вечером было жутковато, а дальше следовали заросли кустарников, среди которых попадалась черемуха. За ними стеной стоял сосновый бор, куда ходили за грибами. Теперь этот бор виднелся сразу же за домами. От свалки, оврага и кустарника не осталось и следа — на их месте стояли жилые дома. «Сколько же лет прошло?» — подумал Палкин и стал перебирать в уме годы, проведенные в колонии, и сумятицу «всеселых» лет перед судом. Ему снова стало немного не по себе.

Он поискал глазами название улицы. Оказалось, что это и есть та самая Садовая, где живет брат. Вскоре он стоял перед светлой дверью с голубой табличкой, на которой стояла цифра 45. На звонок открыла девочка лет двенадцати, в фартуке, с мокрыми руками.

— Вы к папе? — спросила она, явно не узнавая его, и когда он ответил, приветливо позвала: — Проходите, папа скоро будет.

— Вы извините, я обед готовлю, — виновато продолжала она, когда он вошел в комнату. — Вот журнал — посмотрите.

Но Палкину было не до журнала. Он внимательно осматривал квартиру, мебель, каждый предмет. Вот диван-кровать, круглый стол под скатертью, книжный шкаф, телевизор в углу, горка с посудой, картина на стене. Ни одного знакомого предмета, а ведь он часто бывал у брата, знал каждый стул в его старой квартире. И девочку он плохо рассмотрел. «Кажется я не туда попал», — подумал он, с тревогой заглядывая в другую комнату. Но тут он увидел старую швейную машину «Зингер» на чугунных литых ножках с облупившим-

ся ореховым столом, на котором было выдаарапано: «Федя». Сомнения исчезли. Это была та самая машина, на которой пила его мать и которую он в детстве любил крутить тайком от нее.

Хлопнула дверь, и вошел брат.

— Ты, Непутевый?! — удивленно и радостно закричал Василий, бросаясь к Палкину. — Вот не ждал! Досрочно, значит? Да что же ты? Раздевайся! Обедать будем. Сейчас Машиа придет. Голодный, наверное. Так-так... Вот удивил! — приговаривал Василий, пока Федор стаскивал телогрейку, думая о том, что он скажет брату.

Василий пошел на кухню, где хозяйничала дочь. Таков обычай: сначала накормить гостя, а уж потом беседовать с ним.

За столом, который накрыли в большой комнате, Федор молчал, старался есть медленно, хотя такого вкусного домашнего супа не пробовал уже давно. На родных он не смотрел.

— Ну, рассказывай, — потребовал Василий, когда они вышли из-за стола и усадились на диване.

Федор почувствовал, как внутри у него натянулась упругая гудящая струна.

— Каково в колонии-то было? — продолжал брат. — Небось, подвело живот? — спрашивал он, разглядывая Федора.

— Да уж конечно, — пролепетал Палкин, чувствуя, что струна, натянутая внутри, вот-вот лопнет.

Так он и сидел — ни жив ни мертв, односложно отвечая на вопросы брата и ожидая того, главного вопроса, от которого все равно не уйти. Он думал о том, что солгать на этот вопрос нельзя — все равно ложь раскроется, а сказать правду было страшно. Снова, как вчера, он оказался на распутье, и оба пути не сулили ему ничего хорошего. Что же это? Почему раньше никогда не случалось такого? Даже тогда, когда судили его и осудили, и потом, в колонии, когда надо было сидеть годы за осточертевшей проволокой и спать в душном бараке, пропахшем потом и карболкой. Тогда у него был путь, вот в чем дело. Тяжелый, нудный, долгий, но был. Он шел не один, с ним шли сотни других, пусть неприятных ему злых и угрюмых или истерично веселых и насмешливых людей, но то, что они были в равном с ним положении, наполняло его силой. А теперь, рядом с братом, он был одинок.

— Так как же тебя отпустили? — дошел наконец до него, видимо, не в первый раз заданный вопрос.

— Бежал я, — почти выкрикнул он и почувствовал, что струна внутри лопнула, а под ложечкой заняла боль, смешанная со страхом.

— Бежал? — выдохнул брат, наклоняясь к нему. — Бежал, говоришь? Вот спасибо! Вот это удружил! Что же ты теперь будешь делать и что мне прикажешь делать с тобой? Ах ты!.. — и Василий бросил ему в лицо тяжелос, липкое и обидное слово.

Наступила нудная и тягучая тишина. Василий сидел, охватив голову своими тяжелыми, узловатыми руками.

Тишина становилась невыносимой. Федор готов был выскочить из квартиры и бежать куда угодно, лишь бы кончилась эта тишина. Наконец, Василий опустил руки и поднял голову.

— Вот что, — сказал он. — Ночь ты переспишь здесь, на диване. А завтра — чтобы духу твоего не было в городе. Вернись в колонию. Вернись, пока не поймали, пока до конца не опозорил нашу фамилию. Это мое тебе последнее слово, — он встал с дивана, высокий, сутулый, и, тяжело ступая, вышел из комнаты.

Слова брата нахлынули на Федора, как лавина, придавили. Вернуться? Это не укладывалось в нем. Он не мог себе такого представить. Но теперь, когда пришло это слово, он уже не испытывал того надоевшего чувства «один на распутье», которое не оставляло его два дня. Как-никак, а это был третий путь.

Утомленный и раздавленный, он уснул не раздеваясь.



ДЕНЬ ТРЕТИЙ

КОГДА УТРОМ, после завтрака, прошедшего в тяжелом молчании, он вышел из дома и пошел в сторону вокзала, все его существо противилось требованию вернуться в колонию. Он брел по утреннему городу и думал о брате. Брат просто хотел от него избавиться. Ведь он всегда относился к нему недоброжелательно свысока, с усмешечкой. Это он дал ему обидную кличку «Непутевый». Кроме того, Василий — коммунист, а коммунисту не положено помогать преступникам. И хотел бы, может, помочь брату, а нельзя. Нет, он не пойдет в колонию. Есть люди, которые поймут Палкина. Такие люди найдутся. Свет не без добрых людей.

Вспомнились рассказы бывалых воров о том, как хорошо можно прожить у какой-нибудь «подруги». Можно на целый год залечь, затаиться у нее, достать фальшивый паспорт, а потом... Тут фантазия оставила его, но пришла надежда, от которой стало легче на душе. «Проживем», — подумал он и снова стал в своих глазах сильным, ловким и хитрым, тем Федькой Тертым, как звали его иногда друзья, которому все нипочем.

Вспомнил он, что живет в городе тихая девушка, по имени Сашенька, которая в свое время никогда не отказывала ему в расположении. «Вот кто меня по-настоящему любит», — с гордостью подумал он и стал прикидывать, как побыстрее добраться до уютной ее комнатки.

С Сашенькой он познакомился года четыре назад, когда работал в мастерских горкомхоза. Милое личико и складная, как у статуэтки, фигурка нормировщицы несколько дней по давали ему покоя. Как-то в субботний день, после работы, он набрался духу, дождался Сашеньку у проходной и зашагал с ней рядом, понимая, что надо о чем-нибудь говорить, но чувствуя, что язык онемел и не желает поворачиваться.

Больше всего он боялся тогда, что она возьмет и прогонит его, так и не дождавшись от него ни слова.

Однако Сашенька не только не прогнала его, но, улыбувшись каким-то своим мыслям, первая с ним заговорила. Она рассказала о том, какой сложный поступил в мастерские заказ и как сегодня сердился по этому случаю мастер Лизоркин Федор Кузьмич... Тормоза, сковавшие было его язык, мгновенно ослабли, и Палкина «попесло». О чем он только не говорил тогда Сашеньке! А она слушала его с одинаковым вниманием, рассказывал ли он о расцепках, о луне, о кинофильме или о том, как она ему нравится. Внимание ее было явно благосклонным, и он не сомневался в согласии, когда решился пригласить Сашеньку в кино.

После кино им обоим очень не хотелось расставаться и они дотемна бродили по улицам. Он по-прежнему горячо о чем-то рассказывал, она внимательно слушала его, изредка вставляя подбадривающие замечания. Наконец, они незаметно и как будто бы случайно оказались около старинного дома, и она сказала: «Здесь я живу». Он тут же вызвался посмотреть, как она живет, и немедленно получил приглашение...

Возвращался он от Сашеньки на рассвете, с гордостью раздумывая о том, какой он неотразимый и сильный мужчина, коль с первой встречи покорил такую обаятельную девушку. Потом он узнал, что Сашенька лет на семь старше его...

Так началась эта немного странная, но по всем признакам вполне взаимная любовь. Сашенька была всегда ровна и спокойна с ним, всегда с готовностью отвечала на его ласки. Иногда он приезжал в ее уютную маленькую комнатку с компанией подгулявших друзей и подруг. Она гостеприимно встречала их, садилась вместе с ними за стол, обязательно около него, справа, выпивала немного, никогда не пьянея, и он ни разу не заметил, чтобы она посмотрела или, как у них тогда говорили, «положила глаз» на другого. Впрочем, и не протесовала, когда он при ней допускал некоторые вольности с девушками.

Иногда он даже подумывал, а не жениться ли ему на Сашеньке. Но женитьба тогда не входила в его планы, вернее даже ни в планы — планов он тогда никаких не строил, — а в его образ жизни. Сашенька-жена могла быть только помехой бездумному и веселому образу жизни, от которого он, как ему казалось, получал много, никому ничего не давал

взамен. Женильба обязала бы к чему-то, поставила бы на первый план долг, одно упоминание о котором раздражало его, пусть даже это был бы долг перед Сашенькой — все равно. Ее, очевидно, тоже не одолевали мысли о браке — она никогда с ним об этом не говорила, что устраивало Палкина, но немного ущемляло его гордость.

В мастерских долго ничего не знали об их отношениях, хотя обычно в небольших коллективах возникновение взаимного чувства между двумя молодыми людьми не остается незамеченным. Но, видно, не так-то много было в этом чувстве огня, если он не светил другим. Однако, в конце концов, как всегда бывает, отношения между ними перестали быть тайной. Однажды в мастерской Палкин услышал короткий, но больно его задевший, хотя и не до конца им понятый разговор. Говорили между собой мастер и кто-то из пожилых рабочих.

- Слышал, Сашка-то нового повела?
- Слышал. Селеный уж больно.
- Запутает?
- Да он вроде сам путаный.
- Ну нехай их... — всего-то и было сказано.

Ему показалось сначала, что говорят о нем с Сашенькой. Но потом он стал раздумывать и убедил-таки себя, что «Сашек» в мастерских много, да и не идет это грубоватое имя «Сашка» к его «Сашеньке». А больше всего недоумевал он по поводу словечка «повела», которое уж и совсем к ним не подходило (скорее это он «повел» Сашеньку, а не она его), но тем не менее больно его оцарапало.

Так и неизвестно, до чего дотянулась бы ниточка их любви, если бы не арест и не суд, который оборвал ее настолько решительно, что вроде даже и концы потерялись. Во всяком случае Сашенька ему ни передач не носила, ни писем не писала, ни даже приветов не передавала.

Но в его памяти она так и осталась любящей и покорной ему девушкой, которая готова приять его в любой час дня и ночи. Именно к ней решил он теперь направиться в поисках пристанища.

Его так зажгла эта мысль, что он, почти наверняка зная об отсутствии Сашеньки дома в эти утренние будничные часы, все же устремился к ней, в ту комнату, которая будила в нем немало приятных воспоминаний и надежд на будущее.

Как никогда раньше, все его думы и планы сегодня настолько связывались с этой комнатой и ее хозяйкой, что ему

во что бы то ни стало и немедленно надо было удостовериться: стоит ли на месте тот старый дом и не покинула ли его хозяйка. Только получив от соседки вместе с удивленным взглядом справку о том, что Александра Григорьевна на работе, он успокоился и, ощутив выданный братом на проезд в колонию «капитал», с вполне беззаботным видом отправился в город, как будто в его кармане уже лежал паспорт с постоянной пропиской.

Теперь-то уж мог он, наконец, спокойно рассмотреть свой город.

Два года срок небольшой, и внешне старая часть города за это время изменилась мало. Шума на улицах стало меньше — не ревели сирены автомобилей, не стало трамваев, громыавших железом по всей главной улице; теперь вместо них бесшумно или с тихим завыванием скользили вдоль тротуара голубые троллейбусы. Переменили вывески на двух-трех магазинах.

Особенно заинтриговал Палкина продовольственный магазин, на вывеске которого было написано, что он без продавца. Единственно из любопытства зашел он в это необычное для него предприятие торговли. Вдоль стен на полках расположились товары — от водки до фасованной колбасы. Ему показалось довольно заманчивым положить в один карман «белую головку», в другой — колбасу и с рассеянным видом, прихватив для камуфляжа пачку соли, навсегда покинуть стены этого гостеприимного предприятия. Но почему-то оказалось невозможным красть вот так, в таком нарочито доверчивом магазине. К тому же ожили в нем неприятные воспоминания, связанные с продуктовой сеткой. Он вышел из магазина.

Вскоре внимание его привлекла красочная афиша кинотеатра, где он часто бывал в прошлом. Сегодня кинотеатр предлагал зрителю фильм «Полицейские и воры». Сочетание этих двух слов потянуло Палкина в кино, несмотря на то, что этот шаг грозил решительно подорвать его скромный бюджет. Он нашел кассу и протянул в окошечко деньги.

До начала сеанса оставалось еще полчаса, но Палкин изрядно-таки успел пообить ноги за полдненное брожение, поэтому решил посидеть в фойе. Он приготовил билет и подошел к входу. Но тут оказалось, что предъявлять билет некому, а у дверей стоит урна с надписью «Для контрольных талонов». Он замешкался у этой урны, сообразив, что кино-

театр без контролера, и поймав себя на мысли, что можно было бы пройти и без билета. Но эта мысль не вызвала в нем сожаления об утраченных возможностях, а почему-то вспомнились автобус без кондуктора и магазин без продавца. Тем временем к нему подошел молодой человек с красной повязкой и вежливо объяснил, что надо оторвать от билета контрольный талон и бросить в урну. «Все-таки следят», — почему-то с облегчением подумал он.

«Полицейские и воры» оставили в голове Палкина довольно-таки мутный осадок. Ему было одинаково жаль и вора, и полицейского, оба они казались неплохими парнями. Только непонятно было, зачем все это показано. Ему опять вспомнилась похищенная им продуктовая сумка. Фильм как бы оправдывал этот поступок. Получалось, что красть вроде и не велик грех. «Уси крадут», — снова услужливо подсказала память.

Так он и вышел из кинотеатра, не поняв до конца картины, но чувствуя, что она как-то оправдывает многие из его старых и самому ему теперь неприятных поступков.

Тут внимание его привлекла небольшая толпа, собравшаяся на углу улицы. В центре толпы стояла растрепанная и смущенная женщина средних лет, по виду учительница, а перед ней мужчина в рабочем комбинезоне крепко держал за руку выше локтя худосочного нервного человека в брючках-дудочках, в остроносых туфлях и пестром пальто. Глаза человечка бегали, как бы отыскивая щель в окружавшем его кольце, а губы кривились в истерической гримасе. Эта гримаса показалась Палкину знакомой.

Учительница смущенно рассказывала:

— Я в магазин зашла, стала в очередь. Этот подошел сзади и привалился, будто сам стоять не может. А еще двое, вроде него, полезли к продавцу без очереди. Их, конечно, осадили. Тем временем чувствую я что-то неладное сбоку, где сумочка. Гляжу, а сумочка моя открыта и в ней рука. Я схватила руку — она вырвалась и исчезла. Оглядываюсь — стоит этот сзади, как ни в чем не бывало, но знаю — он, больше некому. Я упрекать его стала, а он — меня, чуть в глаза не плюет. Ну, схватили его тут, вывели, а те двое скрылись...

— Откуда только такие выползают? — удивился старичок в шинели.

— Я бы его своими руками... — захлебывалась нагруженная сумками женщина, порываясь приблизиться к человечку.

— Документы проверить! — предлагал усатый мужчина в фартуке.

Толпа вокруг росла и Палкин видел, как на лицах подошедших любопытство сменяется гневом и яростью. Ему показалось даже, что назревает самосуд. Милиционера между тем почему-то не было.

— В милицию его, — предложил кто-то.

Человечек, сникший было, дернулся и заметался, но безуспешно. Его держали крепко. Толпа двинулась по улице. Палкин поспешил ретироваться.

Невольно вспомнился кинофильм. Там полицейский гонится за мошенником, а прохожим наплевать. Здесь милиционера не видно, а вор пойман и его ведут в милицию. Тоскливо, неуютно стало Палкину на улице, с новой силой потянуло его в Сашенькину комнату.

Его появление удивило и, кажется, несколько не обрадовало Сашеньку. Впрочем, она быстро взяла себя в руки, и он посчитал, что это от неожиданности. Она закопошилась, засуетилась, заахала, побежала в магазин и вернулась с бутылкой красного. Скоро из кухни потянуло жареным, а он тем временем разглядывал знакомую и как бы родную ему комнату.

За два года, которые он здесь не был, в комнате мало что изменилось — на всем лежала печать уюта, как его понимала Сашенька, — вышитые подушечки и накидушечки, кружевные подстилочки и занавесочки и те же три русалки над диваном. Только в углу поблескивал линзой небольшой телевизор, которого раньше не было.

Когда сели за стол, Сашенька начала рассказывать о горкомхозовских делах. Он больше помалкивал. Обычно немногословная, она говорила без умолку, и он чувствовал: за ее словами стояло что-то другое, может быть страх или какой-то вопрос, который она боялась ему задать.

«А если у нее теперь другой? Тогда плохо», — подумал он и внутренне весь ошетинился.

Однако после того как вышли за встречу, за дружбу, еще за что-то, все его сомнения рассеялись. Он заглянул ей в глаза и, когда она опустила взгляд, привлек к себе. Голова ее упала к нему на грудь. «Все в порядке», — удовлетворенно подумал Палкин.

В эту ночь ему приснился сон. Будто они с Сашенькой отпраздновали свадьбу, сидят вдвоем и никого им не нужно бояться. Он вроде бы снова работает в мастерских, но уже

мастером, и все его уважают. Сидят они и обсуждают, какую мебель поставить в новой квартире, которую им дают в Черемошниках. А он между тем думает о брательнике своем Василии — как сладко будет утереть ему нос, поселившись в доме напротив, и как тот придет к нему извиняться за изгнание. Очень приятно об этом думать, но тут Сашенька наклоняется к нему и шепотом на ухо сообщает: у них будет сын. У него радостно замирает сердце, он вскакивает, подхватывает Сашеньку на руки и начинает кружить по комнате. Он кружит ее долго-долго.

Вдруг раздается грубый, требовательный стук в дверь и, не дожидаясь ответа, дверь распаивается. На пороге стоят давешние учительница, рабочий, старичок в шинели и мужчина в фартуке. Учительница показывает на Палкина и говорит: «Вот он!» — и все устремляются к нему. Тогда он бросается к окну, выбивает раму и прыгает. Как на перину, опускаются его ноги на асфальт тротуара и он бежит. «Вот как я ловко», — мелькает у него гордая мысль. Но он видит, что учительница и другие преследователи (тут он узнал учительницу — это та самая, которая учила его в школе) тоже плавно опускаются на тротуар и бегут за ним, а в окно смотрит Сашенька и укоризненно качает головой. Он, Палкин, как тот вор из кинофильма, бежит через весь город, и за ним бегут уже не четверо, а целая толпа, его пытаются схватить встречные. Но он бежит и бежит, задыхаясь, проклиная всех и вся, чувствуя, что вот сейчас сердце его разорвется и он упадет. Тут множество рук хватают его и начинают трясти...



ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

— ПРОСНИСЬ, ФЕДЯ! Что с тобой, почему ты хрипишь? — услышал он голос Сашеньки. Открыл глаза. Испуганная Сашенька стояла над ним и трясла его за плечо.

— Тебе не надо на работу сегодня? — спросила она, когда он пришел в себя и вспомнил, где находится.

— Нет. А тебе?

— И мне не надо. Ведь сегодня воскресенье.

«Она ничего не знает», — вспомнил он и почувствовал, что где-то внутри снова, как тогда у брата, понемногу начинает натягиваться струна: и здесь нельзя лгать. К этому уже знакомому чувству струны примешивалось другое, очевидно, оставшееся ото сна странное и тоже неприятное чувство: ему все время казалось, что он должен от кого-то бежать.

После завтрака Палкину не стало легче, и он, не дожидаясь неизбежных вопросов Сашеньки, решил сам начать объяснение.

— Я ведь к тебе насовсем, — сказал он, не глядя ей в глаза и чувствуя, как замерла, насторожилась Сашенька. Она долго молчала.

— Это как — насовсем?

— Да так. Жить у тебя буду. Не прогонишь?

Это явно нарушало какие-то ее планы.

— Что-то не понимаю я тебя. А дома почему не живетесь?

— А я с тобой хочу!

— Что же ты раньше-то не хотел, Федя?

«А ведь она сопротивляется. Она, не зная, что я беглый, не хочет меня принять, — подумал Палкин. — Как же будет, когда я ей скажу? А сказать надо».

— Я и раньше хотел, — соврал он. — Я хотел, но не успел. И вот теперь я к тебе пришел.

Сашенька задумалась, а он снова почувствовал, как все сильнее натягивается в нем надоедлая струна.

Потянулись тяжелые минуты, и казалось, что каждая из них отдаляет его от Сашеньки.

«Значит, для нее переспать с мужиком — это одно, а жить с ним — это другое. Значит она... Вот у таких, наверное, и живут воры. Переждут смутное время и уходят, — лихорадочно соображал он. — Надо ей сказать все».

— Саша, — как можно спокойнее начал он, — я не могу жить дома. Меня ищут. Я бежал из колонии. Бежал, чтобы спасти свою жизнь. Там было очень тяжело — работа каторжная, а есть нечего, — врал он. — Ты посмотри, каким я стал... Мне надо отсидеться месяц-другой, а потом... — он не знал, что потом. — И только ты, одна ты можешь меня спасти, — перешел он на высокие ноты.

Саша слушала, и лицо ее понемногу бледнело.

— Это как же отсидеться? — прошептала она, пугливо оглядываясь на дверь. — Ведь кругом люди, в квартире я не одна, а тебя ищут. А если тебя схватят здесь, у меня, это значит и я с тобой пойду? Да? Так вот ты какой! — вскрикнула она и разрыдалась, закрыв лицо руками.

Палкин с детства не выносил женских слез, с той поры, когда посмотрелся на слезы матери от пьяных отцовских кулаков. У него тоже сдавило горло, но не только потому, что она заплакала. Он понял, что его расчеты на Сашеньку окончательно рухнули, и воровские легенды о том, что можно годами отлеживаться у добрых «подруг», оказались очередной брехней для желторотых. Скоро он снова окажется на улице во власти опротивевшей мысли «куда пойти?» и страха быть опознанным и пойманным...

Так они и сидели друг против друга: она — всхлипывая, уткнувшись в подушку и изредка боязливо поглядывая на него, а он — окаменело уставившись в угол, пораженный и расстроенный тем, что снова рухнула его надежда. Оба они, видимо, чувствовали растущую неприязнь, даже ненависть друг к другу. Ему казалось, что только сейчас он по-настоящему узнал Сашеньку и что все в их отношениях было заблуждением или обманом. «Еще донесет», — подумал он с тоской, а затем встал и, не простившись, выскочил на улицу.

Куда же теперь идти?

Оттолкнул родной брат. Не приняла женщина, которая, как он считал, любила его. Может быть, действительно пой-

ти домой? У Палкина в городе был свой угол — небольшой деревянный домик, где доживала свой век ровесница этого домика, его бабушка — восьмидесятилетняя полуслепая старуха. Вместе с ней он жил после смерти матери, и она наверняка приняла бы его теперь. Но идти туда — значило идти в западню. Да и жива ли еще старуха?

Он брел по улице, ничего не замечая вокруг, и в нем подымалась глухая и тяжелая злоба.

Что же это такое? Никому он не нужен, никому нет до него дела: хоть сдохни в подворотне, как паршивый пес. А не сдохнешь — поймают и опять туда, в колонию. Да еще добавят лет пять.

Нет! С него довольно. Тертого больше там не увидят. Он и здесь не пропадет. Не псом, а волком он будет! У него еще крепкие молодые зубы, он покажет их тем, кто не хочет его признавать. Он еще покажет им!

Вообще-то они здесь все неплохо устроились. Понастроили новых домов, пустили троллейбусы. Магазины без продавцов, кинотеатры без контролеров. Капроновые шубки, велюровые шляпы. Но все это не для него. Все это против него. Видит око, да зуб неймет. Ничего. Зубы у него есть.

Злоба вытеснила страх и ту нудную развоенность, которая не оставляла его в последнее время. Он был готов к каким-то решительным действиям. К каким, он еще не знал.

На перекрестке двух больших улиц он вздрогнул от резкого милицейского свистка. Заскрежетали тормоза. Вскрикнула женщина. Оказывается, он шел на красный свет. Его подозвал милиционер.

— Вы почему нарушаете? — сурово спросил он, внимательно оглядывая Палкина.

— Виноват! — выпалил Палкин, невольно вытягиваясь перед милиционером. Как ни странно, но в этот раз встреча с блюстителем порядка его несколько не смутила. Может быть, потому, что это произошло неожиданно, и он сразу вошел в роль такого рабочего паренька, недавно вернувшегося из армии.

— Иди, да впредь поглядывай в оба, — уже дружелюбно проворчал милиционер.

Только после того, как перешел улицу, Палкин подумал: «А что если бы он потребовал штраф или спросил документы?» Но и эта мысль не встревожила его, а только усилила злобу. «Понаставили милиционеров — нельзя шагу ступить человеку!»

Отойдя метров на сто, Палкин оглянулся. Фигурка постоянного затерялась в толпе. На боковой стене высокого здания он увидел крупную надпись:

«Будь осторожен пешеход —
иди лишь там, где переход!»

Палкин плюнул, выругался и побрел дальше.

Стало больше прохожих. Шли люди неторопливые, спокойные, доброжелательные, с тем всегда уловимым оттенком на лицах, который кладет на людей труда воскресный отдых. И именно этот оттенок раздражал Палкина. Отоспались, наелись, вышли гулять — никаких забот. А каково ему, Палкину?..

Тут его внимание привлекла очередь около пивного ларька. Злые, с помятыми лицами мужчины топтались и переругивались у стеклянного окошечка, откуда то и дело выдвигались кружки с теплым пенным пивом. Палкин вдруг ощутил острую жажду. Как давно он не пил пива! Нашупав в кармане двугривенный, он встал в очередь.

Вскоре к ней пристроились два парня, показавшихся Палкину знакомыми. Он спрятался за соседа и стал разглядывать их. У одного, невысокого, в кургузом по последней моде пальтишке, в надвинутой на низкий лоб кепке, было характерное лицо — почти правильный треугольник острым углом вниз. «Ба! Да ведь это Ванька Клин», — вспомнил Палкин.

Ванька Клин был одним из компаньонов Палкина в его «веселых» похождениях по ресторанам, где они «проводили время». Хоть он и не участвовал вместе с Палкиным в тайных делишках, но Палкин знал, что Клин того же поля ягода — в пьяном угаре он нередко рассказывал, как «брали» богатую квартиру или магазин, какой «навар» им достался, как они потом гульнули. Палкин понимал, конечно, что в этих рассказах много брехни и бравады, но по многим признакам угадывал в Ваньке во всяком случае начинающего квартирного вора. Он был довольно неприятен в компании и жесток по отношению к слабым. Быстро напивался, становился криклив и задирист, приставал к женщинам. Кончалось обычно тем, что его били свои же ребята. Тогда он успокаивался и шел спать.

И вот теперь Ванька Клин стоял в двух шагах от него, а рядом с ним... Да ведь это вчерашний карманник, показавшийся ему знакомым, которого без милиционера вели в ми-

лидию! Те же брючки-дудочки, те же остроносые туфли, только пальто другое, да на лице не было той истерической гримасы. Конечно же, это Жорка Вьюн, которого раньше приходилось встречать Палкину в компании с Клином. Что ж, может оно и к лучшему. Теперь Палкин уже не будет одинок.

— Здорово! — подвинулся он к парням. — Не узнаете?

Клин пристально и подозрительно оглядел его. То ли он не узнал Палкина, то ли не хотел узнавать. Вьюн же нерешительно улынулся: он, видимо, вспомнил Федора.

— Да это же Третий! — он ткнул Клина локтем.

— Узнаю, узнаю, — процедил Клин, — давненько не видно было. — По лицу его угадывалась напряженная работа мысли. Наконец, он нашел какое-то решение, и треугольник его заулыбался.

— Рад, рад, — запел он Палкину в ухо. — Надо бы не пивом отметить такое событие. Деньги-то есть?

— Только мелочь.

— Как же так, — с разочарованием пел Клин, — такой парень и без денег?.. Тьфу, черт, совсем забыл, ведь ты на курорте загорал. Кончилась, значит, путевка?

— Я ее сам прикончил! — гордо откликнулся Палкин.

— Ну-у, неужели ушел?

— А ты думал!

— Молодец! У кого же ты в городе устроился?

— Пока ни у кого. Ищу квартиру.

— Без денег и без крыши. — Тут Клин многозначительно поглядел на Вьюна и подмигнул ему. Палкин не придал этому значения.

— Может, приютить? — с надеждой спросил он Клива.

— А тебя кто в городе видел?

— Брат и Сашка. Только они будут молчать.

— Это хорошо, — обрадовался Клин. — Слушай сюда! Есть стоящее дело. Сделаем — будут и деньги, и крыша. По это разговор особый.

Тем временем подошла их очередь, из окошечка им выдвинули по кружке пива.

Через полчаса, переодев Палкина в приличную рубашку, они уже сидели в только что открывшемся ресторанишке.

Настроение у Палкина было превосходное.

— Погоди, погоди, — приставал он к Вьюну, — а ты почему не в милиции? Тебя ведь вчера застукали.

— А ты откуда знаешь? — Жорка был поражен его осведомленностью.

— Слухом земля полнится.

— А все-таки? — сразу посерьезнел Клин.

— Ну-ну, не заводитесь, — улыбнулся Палкин. — Сам видел по случаю.

— Это дело другое, — успокоился Ванька.

— А ты все же расскажи, — приставал Палкин.

— Сорвалось у них. Деньги-то в сумке остались. Эта тетка зря панику подняла. Ничего не доказала. Записали мне привод не знамо за что и отпустили. Легкий испуг! — бравировал Вьюн.

— Ну, хватит вам, — прикрикнул Клин, и они склонились над столом.

План «дела» был таков. В мастерских горкомхоза, где когда-то работал Палкин, а теперь работали Клин и Вьюн, вчера получили зарплату, но выдать ее всем рабочим не успели. Деньги лежат в сейфе. У Клина к этому сейфу был подобран ключ. Но вся беда в том, что их там хорошо знают — стоит кому-то из сторожей или из рабочих, которые и в воскресенье бывают в мастерских, увидеть их — и копец. Другое дело Палкин. Его там никто не помнит, а он знает каждый угол. Он должен проникнуть в контору мастерских, добраться до сейфа, взять деньги и выйти тем же путем к ним. Денег там много. Он, Палкин, получит половину и уедет из города. Клин даст ему один адресок в Ростове. Там у него будет и паспорт, и крыша, и все, что он пожелает.

— Одно может помешать, — продолжал Клин. — В конторе иногда сидит этакий «ночной директор» — старикашка-сторож. Придется тебе прихватить с собой перышко и при случае...

Распаленный злобой и водкой Палкин без оговорок принял этот план. Однако действовать можно было только вечером. Оставалось часов 5—6 «пустого» времени. Палкину вдруг смертельно захотелось вытянуться на кровати в теплой комнате и вздремнуть. Он потянулся, в суставах сладко заныло.

— Может, к тебе пока зайдём? — обратился он к Клину.

— Зачем это? — ощерился тот. — Наследить хочешь?

— Или, может, к тебе? — обернулся Палкин к Вьюну, не замечая тревоги Клина.

— У меня дома ремонт, — заюлил Вьюн.

«Те еще друзья», — подумал Палкин, но промолчал. Ссориться не имело смысла. План его захватил, и он жил теперь только-им. Он даже не замечал, как зачем-то переглядывались и перешептывались его дружки.

Они перешли в другой ресторан и там досидели до темноты.

Территория мастерских с одной стороны примыкала к реке, которая здесь не замерзала — соседние предприятия спускали в нее теплые воды из котельных. С этой стороны и подошли к мастерским. В заборе была найдена слабая доска.

— Вот тебе перышко, — сказал Палкину Клин, протягивая финку. — Да смотри, если засынешься, про нас — ни-ни, а то вот. — И Клин выпул из-за пазухи браунинг.

Палкина передернуло. Впервые вся эта затея показалась ему страшной, грязной и кровавой ловушкой, в которую он лез по своей воле. Но отступить было поздно. Палкин проскользнул в дыру и оказался на территории мастерских. Ощупывая в кармане финку, он стал пробираться к зданию конторы. Путь был не близкий, приходилось то и дело затаиваться в тени, пережидая опасность, и Палкин начал трезветь. Все разрозненные словечки, взгляды, перемигивания, которыми обменивались Клин и Вьюн и которым он не придавал значения, начали связываться в одно целое. Они были озабочены тем, видел ли кто Палкина в городе, не хотели показывать его родным и знакомым, в ресторане сажали так, чтобы он меньше был на виду, поили его водкой, а сами пили мало, перешептывались в его присутствии. Что все это могло значить? И потом пистолет. Откуда он у Клина? Неужели он запирается и этим? Значит, для него убить человека — пустяк? А почему бы ему не убить Палкина, когда тот вернется с деньгами? Ведь Палкина здесь никто не будет искать. Сбросят его в реку — и все, концы в воду. Пусть тогда ищут преступника по следам мертвеца. А у Клина и Вьюна будет лежать в кармане немалые денежки.

Мысль его лихорадочно работала. Нет, он не вернется к ним. Есть другие выходы с территории, он знает. Он возьмет все деньги себе и уедет сегодня же ночью. Нет, не в Ростов. Все равно куда, но только подальше от Клина. А если провал? Если он попадется? Нет, он будет осторожен и не пойдет на риск.

Палкин добрался до конторы и заглянул в окно. В комнате тускло горела настольная лампа. То, что он увидел, по-

разило его. За столом сидел и читал, надев на нос свои старые очки в металлической оправе, его бывший мастер, учитель и наставник Федор Кузьмич Лизоркин. Старик, видимо, вышел на пенсию, но не хотел покинуть мастерские, и вот теперь он здесь сторожем...

Дикая злоба овладела Палкиным. Так значит они ему дали нож на Федора Кузьмича? Они знали, что он дежурит у сейфа. Сволочи! Сперва он старика, а потом они его! Гады! Старик стережет деньги, а он, Палкин, должен его зарезать, забрать деньги и отнести их этим гадам? Не-ет! Не будет этого! Он взял финку за конец лезвия, зашвырнул в темноту и стал пробираться в сторону, противоположную той, где ждали его Клип и Вьюн. Он совсем протрезвился, голова его была ясна, и та злоба, с которой он шел по городу утром, теперь целиком была адресована Клину и Вьюну.

Выбравшись с территории мастерских, он быстро прошел несколько кварталов, а потом так же, как и в первую ночь, забрался на чердак и прикорнул у дымохода.



ДЕНЬ ПЯТЫЙ

УТРОМ ПАЛКИН долго обдумывал свое положение. Остался только один выход — пойти к старому дружку по веселым и тайным делам, к Кольке Левушкину, который должен был уже отсидеть свой срок и возвратиться из колонии. Он поймет Палкина и поможет ему в беде. Дружба — вот что самое ценное на земле! А уж они-то с Колькой были друзьями.

Нет, это не была обычная дружба школяров или соседей по двору. Их с детства связывали дела, о которых говорили лишь шепотом, да и то с глазу на глаз. Уже в этом была своя романтика, не говоря о самих делах. Колька был старше Палкина, сильнее и энергичнее его. Он был знаком с такими ребятами, на которых Палкин и смотреть-то боялся — не так посмотришь и можно получить по шее. Ему казалось, что у этих ребят всегда приготовлен нож за пазухой. И все, чему учил его Колька, он воспринимал как исходящее от них, этих недостижимых парней. Они то исчезали, то снова появлялись на их улице. Колька говорил о них: «вернулся с гастролей» или «побывал на курорте». Палкин не понимал истинного значения таких слов, но стыдился признаться в этом. Потом парни исчезли: одного «пришили свои», другой «размотал на всю катушку», третий «завязал» и уехал в другой город. Все, что было связано с ними, теперь сконцентрировалось для Палкина в Кольке. Он разрабатывал планы их совместных набегов на соседние сады, затем они стали посещать колхозный рынок, охотясь за выручкой зазевавшихся торговцев, а потом начали обворовывать пьяных. Колька всегда был во главе компании, и в нем все ярче проявлялись черты тех недостижимых парней, которые исчезли, — он явно выходил в «авторитеты».

В те годы для Палкина его слово значило очень много — больше, чем слово любого другого человека, даже слово

брата Василия, который не любил много разговаривать, а на правах старшего больше покрикивал на Федора или посмеивался над ним, считая, что разные там разглагольствования не к лицу рабочему человеку. Федору было ясно, что брат недолюбливает его, и он шел к Левушкину, где всегда интересно, где всегда строились какие-нибудь планы, и он, Палкин, был активным их участником, где на любой вопрос он получал ясный и исчерпывающий, как ему казалось, ответ.

— Кольк, — спрашивал, бывало, Палкин, — а ну как засекут нас?

— Дура, — ласково и покровительственно отвечал Левушкин, — все крадут, но только трусы дрожат за свою шкуру. У всякого промысла — свой риск.

И тревога, которая часто посещала Палкина после выходов на «дело», ослабевала, уходила, уступая место даже своего рода гордости за удачно проведенную «операцию».

— Вот, говорят, у всех наших людей дело общее, общий интерес. А как же один у другого воровать может? — в другой раз спрашивал Палкин.

— Это говорят. А у каждого — свой интерес. И ты поменьше слушай разных там говорунов, а побольше к нашим прислушивайся.

«Наши» — это были, конечно, сам Колька и его подпевалы.

Особенно убедительными и вескими были для Палкина слова приятеля потому, что Левушкин не раз выручал его из беды.

Навсегда запомнился ему ночной налет на сад парикмахера Толстопятова, который славился своей жестокостью по отношению к расхитителям его яблочных богатств. Говорили, что Толстопятов так и спит в своем саду, причем только одним глазом, вторым же неусыпно пропзает ночную тьму с кошачьей зоркостью. По правую руку его всегда якобы лежит двухствольное ружье, начиненное крупной солью, а по левую — веники самой злой крапивы, припасенные для истазания яблочных воров. Под яблонями же он, по слухам, расставляет волчьи капканы, которые сразу ломают ногу неосторожному ворюшке.

Вот в эти-то сады и отправились два друга, достоверно зная, что слаще толстопятовских яблок не только в городе, но и во всей области нет. Это могла подтвердить любая торговка с рынка, где Толстопятов каждую осень сбывал многопудовые «излишки» своей душистой, как мед, продукции.

Ночь выдалась темная и душная. Аромат созревающих яблок волной перехлестывал через высокий глухой забор, вдоль которого крались друзья: впереди Колька, а за ним Федька. Далекий рокот города да недалекий захлебный лай собачонки только усиливали напряжение тишины.

Перемахнув в заранее намеченном месте забор, друзья поприслушались, огляделись в темноте и, чтобы не ходить по капканам, трянули одну из ближайших яблонь, с которой как крупный град посыпались спелые, в росе, яблоки. Задышавшись, в спешке и страхе, начали они набивать ими карманы и пазухи, как вдруг услышали ругань проснувшегося от стука яблок о землю Толстопятова. Матюкаясь от злости и для острастки, Толстопятов не спеша надвигался из тьмы.

Как напуганные воробьи, взвились из-под яблони Колька с Федькой. На забор лезли, судорожно цепляясь за что попало, обдирая животы, руки и одежку. Колька, старший и более сильный, был уже по ту сторону ограды, когда Федька заорал дурным голосом, запутавшись в колючей проволоке, навитой хозяином по верху забора. Не на земле, а уже на заборе оказался Палкин как бы в капкане, сзади же подходил, хотя и с видимой опаской, Толстопятов.

Вот тут-то и выручил его Колька. Услышав вопли друга, он, одолев страх, вернулся, взобрался на забор и буквально выдернул из рук подоспевшего Толстопятова обезумевшего от страха и боли Палкина. Они уже сделали первый бросок от забора, теряя последние яблоки, когда над их головами прогремело толстопятово ружье.

В другой раз, уже работая вместе с Палкиным на автобазе, снова выхватил Колька Левушкин своего друга, но уже не из объятий Толстопятова, а из железных рук закона.

К тому времени толстопятовские сады казались им далекой детской забавой — им нужны были не яблочки, а «навар» — деньги, на которые можно было выпить и погулять вволю.

Левушкин шоферил тогда на автобазе и от рискованных дел временно отошел — его устраивал доход от «левых» рейсов. Палкин работал «слесаренком», на подхвате, заработок прокучивал в первую же неделю, а потом «стрелял» по родным и знакомым да подсматривал, где что плохо лежит.

Однажды он «увел» новый аккумулятор с машины, толь-

ко что поставленной в ремонт. Аккумуляторы были тогда на рынке в большой цене. Подозрение пало на него, но прямых улик не было. Тем не менее его арестовали. Левушкин, который все знал об этом деле и был вызван для опроса в числе других, дал полное алиби Палкину, убедив следователя, что в часы между постановкой машины в ремонт и обнаружением пропажи Палкин был с ним на рыбалке.

Счастливого избавление от заслуженной кары было тут же «обмыто» на деньги, вырученные от продажи аккумулятора, а чувство признательности Левушкину, подогретое винными парами, выросло тогда до высот преклонения и преданности «по гроб жизни».

Палкин не видел его года четыре, а то и больше. Теперь, решив направиться к Левушкину, Палкин уже не помышлял о совместных с ним тайных делах, он просто хотел найти у него помощь и убежище.

По старому адресу не удалось найти не только Кольку, но даже одноэтажный домик, в котором он жил. На месте этого домика теперь возвышался пятиэтажный гигант квартир эдак на шестьдесят. Спрашивать тут было бесполезно. Палкин решил обратиться в справочное бюро. За две копейки — ассигнованный братцем капитал еще позванивал в кармане, напоминая о своем назначении. — девушка сообщила не только адрес Николая Михайловича Левушкина, 1936 года рождения, шофера, но и написала на бумажке, как проехать к его дому. Остановка называлась немного странно — Первые Сады. Предстояло опять трястись в автобусе.

Когда Палкин сел в автобус, перед ним снова оказалась ловушка для монет и снова, как в магазине, он поймал себя на мысли: «Можно не платить». Однако теперь эта мысль показалась ему явно нелепой и опасной, и он тут же полез в карман за пятаком. Потом спокойно уселся на мягкое сиденье и стал разглядывать пассажиров.

— Улица Красной Звезды, — проговорил в репродуктор витный голос. — Здесь находятся кинотеатр «Родина», ресторан «Привет» и редакция областной газеты. Вы можете пересесть на трамвай номер второй и автобус пятый. Следующая — Гастроном.

«Вот старается парень», — подумал Палкин о водителе и с любопытством посмотрел ему в спину. Ничего особенного он не увидел: потертое пальто, серая кепка, длинная юношеская шея и папироса в углу рта. Однако парень заинтересовал Палкина.

На следующей остановке повторилось то же самое.

— Гастроном, — проговорил репродуктор. — Недалеко отсюда Нагорный райисполком, педагогический институт и городская больница. Следующая — Проспект Трех Коммунистов.

Ведь никто его не заставляет и даже не просит проявлять такую заботу. Ехал бы себе, объявлял остановки, да напоминал: граждане, не забудьте приобрести билеты. Нет — ему еще надо справки давать, и он делает это с явным удовольствием. Палкину захотелось узнать фамилию водителя, заглянуть ему в лицо. И почему-то, уж совсем ни с того, ни с сего, стало даже немного празднично на душе. Вроде он тоже испытывал какое-то удовольствие от того, что едет в этом автобусе, с этим именно водителем. С таким вот неожиданным чувством он и ехал до тех пор, пока репродуктор не сказал: «Первые Сады». При выходе Палкин, взглянув на табличку, прочел: «Водитель Богатырев Е. Н.» Еще он заглянул сбоку в лицо водителю. Ничего особенного — парень как парень, лет двадцати двух, чуб из-под кепки, не очень чисто выбрит, руки в масле — рабочий парень.

Когда автобус ушел, Палкин проводил его взглядом и осматрелся. Перед ним снова, как в Черемошниках, простиралась новая улица. Все дома были пятиэтажные, из белого кирпича. Колька жил в таком же районе, как и Василий. Наверное, в отдельной квартире. Как его сюда занесло? Как они тут за два года все квартир наполучали?

Заглянув для верности еще раз в бумажку, Палкин зашагал по улице. Вскоре он стоял на четвертом этаже перед дверью квартиры Левушкина. Сердце его учащенно билось, и не только от быстрой ходьбы по ступеням — предстоящая встреча глубоко волновала его.

Дверь открыла молодая незнакомая женщина в фартуке. Вытирая руки, она вопросительно и спокойно посмотрела на Палкина.

— Дома Николай-то? — тоном старого знакомого, с хрипотцой в голосе спросил Палкин.

— Проходите, — продолжая разглядывать его, сказала женщина. — Посидите, он скоро, — кивнула она на диван, служивший, видимо, и кроватью в единственной комнате, а сама ушла на кухню.

Сестер у Кольки не было. «Жениться успел. Быстро все у него получается», — подумал Палкин, оглядывая комнату. Сразу было видно, что въехали сюда совсем недавно: диван,

стол, четыре стула — вот и вся мебель. И стены совсем голые. Потом он стал прислушиваться. На кухне шипела сковородка, что-то булькало и фыркало.

Щелкнула задвижка, и из двери рядом с кухней, из ванной, розовый, распаренный вышел в пижаме Колька. Да, это был он, такой же приземистый, ладный и быстрый, только с лица немного округлился.

— Федул, ты? — воскликнул Левушкин, увидев на диване Палкина.

— Я, Коля, я! — закричал Палкин, не ожидавший появления Левушкина и обрадованный столь ласковым к нему обращением. «Федул» в устах Кольки издавна означало, что он рад видеть Палкина. «Федул» вскочил с дивана и, не зная, что ему делать, по колониcтской привычке вытянулся перед Левушкиным. У него на душе соловьи запели. Левушкин обнял Палкина и, ткнувшись щекой в щеку, считай, что поцеловал его. Таких нежностей никогда раньше между ними не водилось. «Теперь все в порядке будет», — восторженно подумал Палкин.

Нет, теперь Палкин не испытывал нудного чувства натянутой струны, которое мучило его и у брата, и у Сашеньки — другу спокойно можно рассказать все, он-то поймет и уж, конечно, не оставит в беде. То ликующее настроение, то чувство свободы, которое владело им в первые часы побега и которое совершенно исчезло потом, опять возвращалось к нему. Конечно же, он правильно сделал, пустившись в бег...

Левушкин тем временем заставил его раздеться, усадил за стол и ушел на кухню помогать жене. Скоро на столе появился полный обед и бутылка вина.

— Как раз к обеду подоспел, — приговаривал Левушкин. — Вот познакомься — жена Вера, второй год как расписались. В нашем автопарке работает диспетчером. Вроде как начальство. Это мой старый кореш, Верок. Вместе росли...

Говорил он один, Палкину не давал слова вставить, ни о чем его не расспрашивал. Умница! Он, конечно, догадывается о положении друга и не хочет его подводить. Однако и молчать тоже неудобно.

— Это не в вашем ли автопарке такие чуткие товарищи появились? — спросил Палкин и рассказал о водителе Богатыреве, который на каждой остановке выступает перед пассажирами в роли экскурсовода.

— Да это же мой сменщик — Женька! — радостно воскликнул Левушкин. — Молодец парень! Это он придумал.

И как только нам раньше в голову не приходило — ведь удобно же и приятно людям.

«Вон какие песни!» — подумал Палкин. И сразу рой новых мыслей и чувств налетел на него. Прежде всего он понял, что Николай окончательно и бесповоротно «завязал» и уж никуда его, Палкина, не потянет. При этой мысли с сердца его упал какой-то камень, который хоть и не сильно, но давил, когда он представлял себе встречу с Колькой. Потом он подумал о том, как быстро сейчас перестраиваются люди и как у них это здорово и естественно получается, как будто все, что было раньше — это не всерьез, а настоящая жизнь наступила только теперь. И от этой мысли ему стало немного жутковато, как бывает перед прыжком в воду, потому что и ему, он это понимал, предстояла какая-то перестройка. И, наконец, ему стало просто страшно от того, что вот этот новый, незнакомый Колька может встретить его совсем не так, как он, Палкин, хотел и ждал, а вроде того, как встретил его брат Василий.

— Ну и молодец Женька! — продолжал между тем Левушкин. — Ведь это он почему придумал? Потому что мы начали соревноваться за звание бригады коммунистического труда. Вот он и решил, что нельзя теперь по-старому работать — сиди за рулем да бубни остановки, не глядя на людей. Нет, честное слово, молодец...

Вера вскоре собралась и ушла на дежурство. Друзья остались одни. И тут, сразу как-то посуровев, Колька спросил:

— Как дела, Федя? — спросил так, как никогда раньше не спрашивал, внимательно заглядывая ему в глаза и через них в душу. Спросил так, что у Палкина заняло под ложечкой, но уже не от страха, а от жалости к самому себе. И он сбивчиво, с паузами, всхлипывая и шмыгая простуженным носом, рассказал Левушкину свою жизнь за последние годы, рассказал не так, как рассказывал Сашеньке, без позы и замираний, потому что почувствовал в Кольке настоящего, хотя и не того, что раньше, по отцу пужного ему друга.

Колька слушал внимательно, не перебивал, на лице его явно проступала жалость к другу, и хотя Палкин не любил, когда его жалели, эта жалость была ему даже приятна и утешительна.

— Ну, так! — вздохнул Колька, когда Палкин закончил. — Что же ты теперь думаешь делать?

— Вот к тебе пришел — помоги.

— Как же тебе помочь? Может, линю купим? — серьезно, но с почти неуловимой иронией спросил Левушкин.

— Нет, — сказал Палкин, — липа — это не то.

— Ну, а что «то»? — уже с явной иронией откликнулся Колька.

— Не обратно же мне туда идти?! — с отчаянием выкрикнул Палкин, все еще надеясь, что Левушкин что-то придумает, сделает такое, что все уладится, утрясется, встанет на свое место.

— Давай-ка, Федя, подумаем вместе. Я ведь тоже, когда сидел, мечтал о побеге: Муторное это дело — сидеть.

— Муторное, Коля, муторное, — торопливо подхватил Палкин.

— Да, муторное, — задумчиво продолжал Левушкин. — Только вот подумал я, поразмыслил и откинул мысль о побеге. Расчету нет. Ты смотри, что получается. Допустим, убежал я из колонии благополучно — ни пуля не задела, ни собака не порвала. Куда мне деваться без денег, без паспорта? К родным на иждивение? Дураки будут, если примут — липший рот, да еще отвечаю за укрывательство. Едва ли и сам пойдешь, если совесть имеется. То же самое к знакомым, к друзьям.

«Уж не знает ли он, что я у Василия был?» — невольно подумал Палкин, но тут же отбросил это предположение — брат и Левушкин не были даже знакомы.

— Значит, остается что? Остается воровать и жить по чердакам или отыскать «малину», которую теперь днем с огнем не сыщешь — времена не те. Или еще есть дорога — выправить липу, а потом всю жизнь дрожать, что разоблачат, и ведь обязательно разоблачат рано или поздно. Причем, во всех трех случаях тебя обязательно будут искать и найдут, снова посадят, по уже на строгий режим, да еще срок добавят и совсем верить тебе перестанут. Вот обдумал я все это и пришел к выводу — нет расчету бежать.

Палкин слушал его и подумывал о том, что не так уж неправ был брат, когда советовал идти обратно в колонию. И может, говорил он это не со зла вовсе, а от чистого сердца?

— Только главное не в расчете, Федя, а совсем в другом. Главное в том, чтобы понять, что много мы с тобой напакостили в жизни — напакостили и людям и себе. Как когтя в углу. А жизнь взяла нас за шиворот и ткнула носом

в этот угол; в эту пакость — заставила вылизывать. И надо вылизывать, если хочешь быть человеком, а не шкодливым котенком. Муторно, а надо.

«Вон куда повернул», — подумал Палкин. Что-то очень похожее на рассуждения Левушкина он много раз слышал в колонии от воспитателей и даже от товарищей, но считал это «агитацией», направленной на то, чтобы заставить его, Палкина, работать безропотно и в полную силу. Но теперь, когда так же заговорил Колька, это уже не могло быть «агитацией», а значит и там, в колонии, не было «агитацией»! И теперь все, что ему говорили раньше в колонии, надо было обдумывать и оценивать заново.

Взгляд его упал на левую Колькину руку: на коже запястья выделялся белый квадрат. Что же это такое? Ба! Да ведь он тут татуировку вывел. Вместе накалывали: «Не забуду мать родную». Дела!

А Левушкин между тем продолжал:

— Помнишь, как мы ненавидели Толстопятова, который на людей капканы ставил? Разве грабитель, караулящий в подворотне свою жертву, лучше его? Он тоже капкан на человека ставит. Толстопятов, хоть он и сволочь последняя, для защиты своих нечистых яблوك капканы ставил. А грабитель на беззащитного нападает, чтобы отнять у него кровное, трудовое. Так что, по-твоему, такого волка надо по шерстке гладить? Вот что я понял. Пора, брат, за ум браться. С такой мыслью я и вышел из колонии, вышел честно — суд мне открыл ворота, досрочно освободил. Вышел я и новыми глазами посмотрел вокруг — то ли жизнь переменялась, то ли я другой стал, а может и то и другое вместе, но только теперь я больше своих рук и своей души не запачкаю. И еще я понял: каким ты будешь с людьми, такими и они с тобой.

Левушкин еще долго говорил, а Палкин слушал и не узнавал друга. Но странное дело, этот новый, другой Колька был ему еще больше дорог, чем тот, старый, в которого он так верил и к которому стремился, чтобы найти выход. Он с трудом разбирался в своих мыслях и чувствах, нахлынувших на него теперь, но одно он уже понимал ясно: жить так, как он жил до сих пор, нельзя. И почему-то все время стояла перед его глазами Колькина рука, где на месте татуировки оказался белый квадрат.

Спать они легли вместе, на диване, и когда Палкин засыпал, ему на миг показалось, что вернулось детство, когда только начиналась их дружба.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

ПАЛКИН ПРОСНУЛСЯ поздно. Левушкина уже не было — ушел на работу. На кухне Палкин увидел завтрак и записку: «Ешь. Прими ванну и жди меня». Он зашел в ванну и долго стоял там, подавленный и растерянный. Ничего подобного ему раньше видеть не приходилось. Выложенный разноцветной плиткой пол, белые кафельные стены, сверкающие никелем трубы и краны, белоснежная и зовущая как раскрытая постель ванна, душистый запах мыла — у него даже закружилась голова. «Как в больнице», — подумал он. Странное сравнение. Но он действительно ничего подобного раньше не видел. Вот живут люди! И кто живет? Колька, который всего пару лет назад, как и он, сидел за колючей проволокой. А вернулся — стал честно работать, жепился и каждый день купается в этой ванне. Станные вещи происходят в мире!

Понемногу освоившись, разобравшись в кранах и рычагах, Палкин тщательно вымылся, потом позавтракал. Бодрость и сила разлились по его телу. Никакого раздвоенного чувства, никакой натянутой струны не было в его душе. Что же это такое? Что произошло? Разве он уже получил паспорт и прописался в этой квартире? Разве суд уже отменил его приговор? Нет, все было по-старому. Так в чем же дело?

В этом нелегко было разобраться. Но восстанавливая в памяти впечатления последних дней, вспоминая вчерашний разговор, стараясь уловить во всем главное, Палкин понял: и брат Василий и Колька правы. Ему надо вернуться. Ему надо работать и учиться в колонии. Пройдет два года, пускай три, четыре и он приедет сюда, в город, который примет его так же, как принял Кольку. И именно сознание этого, созревшее в нем решение, наполнило его силой и бодростью, открыло перед ним перспективу, которой он раньше не видел.

Но как вернуться? Ему теперь почему-то стало особенно страшно. Страшно выйти на улицу. Ведь могут задержать

и отвезти обратно. Отвезти! А он хочет вернуться сам. Отвезут, и тогда никто не поверит, что он сам решил вернуться. Сам! Не поверят, что он понял! Понял, наконец, как правы были те, кто вдалбливал в его упрямую голову, что надо кончать, что надо жить так, как живут все люди, брат, Колька...

Как же быть? И тут ему в голову пришла простая мысль. Письмо! Он должен написать письмо начальнику. Отправить это письмо — и потом уж ничего не страшно. Если даже его поймают в пути, письмо придет, и все поймут, что он сам решил вернуться. Он заметался по комнате, разыскивая бумагу и карандаш, потом сел за стол.

«Гражданин начальник! — писал Палкин. — Я обманул Вас по глупости и теперь раскаиваюсь. Я решил вернуться обратно и отбыть честно свой срок, чтобы быть, как все, счастливым на свободе. Гражданин начальник, я прошу, чтобы меня не судили за то, что я убежал. Я возвращаюсь сам. Я решил честно освободиться и быть в семье трудящихся. Вот сейчас нахожусь на воле, как все, но мне все равно как-то нехорошо. Как я буду жить нечестно среди честных людей? Некоторые магазины даже отпускают продукты на самосознательность, без продавцов. Автобусы ходят без кондукторов и шофера рассказывают, где кому надо сойти. Все здесь получили квартиры с ваннами. А воров сам народ хватает и ведет в милицию. Это меня удивило, и я понял, что надо быть честным среди честных людей. Когда я увидел такую жизнь, меня убила совесть, и я решил вернуться. Федор Палкин из 17 бригады».

Писал он долго, а когда кончил, им овладела радость. Теперь уже не страшно! Теперь он опустит письмо и пойдет в город. Он зайдет к бабушке, пусть даже там его ждут. Письмо придет!

Но как же быть с Колькой? Уйти, не повидав его? Палкин задумался. Нет, он не может здесь остаться. Решение созрело и требовало немедленного действия. Надо идти. Он взял клочок бумаги и карандашом написал: «Согласен. Буду честным среди честных людей. Федор». Положил бумагу на середину стола под карандаш и вышел на улицу.

Морозное солнечное утро. Легкая дымка пронизывала воздух. Блестел на солнце свежий ночной снежок. Голубело над крышами домов чистое небо. Было такое же утро, как и в тот день, когда он бежал, только слабо, почти неуловимо.

мо, в воздухе ощущался запах весны. Бывают такие дни в конце января. И это неуловимое ощущение весны сразу же вошло в Палкина, наполнило его бодрым покоем и уверенностью в себе. Это чувство было гораздо более полным и сильным, чем то хмельное и ликующее чувство безграничной свободы, которое наполняло его в первые часы после побега и которое сменилось потом смятением и тоской. Как ни странно, но сейчас он чувствовал себя более свободным, чем тогда.

Теперь он спокойно всматривался в лица прохожих, разглядывал их одежду, вслушивался в разговоры. Он совсем не боялся, он даже хотел бы встретить кого-нибудь из знакомых. Правда, он не знал, что скажет ему, но он и не боялся такой встречи. Он думал о письме, которое опустил в почтовый ящик. Наверное, почтальон уже вытряхнул его оттуда в брезентовую сумку и письмо начало свое движение по направлению к начальнику, движение, которое теперь ничто не может остановить.

Как дорог ему этот город, где он родился, вырос, учился, работал и... воровал! Пожалуй, никогда раньше он не называл бы это своим именем. Он, конечно, кривил душой, когда раньше избегал подобного слова в применении к своим делишкам. Даже когда суд публично назвал его вором, он не принял внутренне этого слова, он только весь как-то сжался и ошетинился тогда. И вот теперь оно прозвучало в его сознании как справедливая оценка его поступков. Да, он был вором. Он гадил в своем родном городе, как тот паршивый котенок, и его вышвырнули за дверь. А город продолжает жить своей жизнью, ему не стало хуже от того, что он вышвырнул Палкина, наверное стало даже лучше. Вот только Палкину без него плохо. Но он еще вернется сюда!

Бабушка жила в центральной части города, в одноэтажном деревянном доме, хоть и покосившемся немного, но еще прочно державшемся за землю, в которую он врос, — в центральной части дома еще не сносили, застраивали пока окраины. У него сладко заняло сердце, когда он подходил к старому гнезду, из которого вылетели все поколения Палкиных. Тут все, до сучка на калитке, было знакомым и родным. Он открыл калитку и посмотрел на дорожку, которая вела к крыльцу. На свежем снегу отпечатался только один след — утром кто-то вышел из дома. Острые каблучки, узкая ступня — след был женский. На стук открыла сама бабушка. В темноте прихожей она его не узнала.

— Феденька! — только и проговорила она, когда вошли в комнату, и повисла у него на шее. Руки ее тряслись, и без того сморщенное лицо сделалось совсем маленьким и мокрым от слез. Не по себе стало Палкину. Жалость спазмой сжала горло, слезы подступили к глазам. Одна доживает свой век старая, а был бы он на свободе... Впрочем, и когда был, ничего хорошего она от него не видела. Вот дожила бы только до его возвращения...

Оказалось, что живет бабушка не одна, а с жилищкой — это ее след видел он на дворе. Страшно одной бывает по ночам, да и по хозяйству тяжело управляться. Василий заходит редко. Хорошо, если в месяц раз зайдет. Больше с него и не спросишь — дела, семья.

— Совсем, что ли, домой-то? — с надеждой спросила бабушка.

Тяжело было Палкину отвечать. Нет, не мог он сказать правду, не мог ударить ею старуху. Она, конечно, подумала, что его выпустили на свободу, иначе она не могла думать. Это была для нее радость, которой мало осталось в ее жизни, и лишать радости он ее не хотел. Но как же быть? Ведь брат все равно расскажет. «Напишу брату», — подумал он. Брат должен понять его.

— Завербовался я, на стройку еду, ба, — бодро соврал он, — вот заработаю там, приденусь и приеду к тебе. И года не пройдет. А пока буду тебе деньги посылать.

А что? Насчет денег он неплохо придумал. Он и на самом деле будет ей посылать из колонии — многие так делают из тех, кто хорошо работает. А уж он-то теперь будет работать!

Много приходилось Палкину в своей жизни лгать, но никогда он не испытывал удовлетворения от лжи, всегда она оставляла горький осадок в его душе. А вот сейчас вроде и соврал, а приятно. «В главном не соврал», — подумал он.

Часа три посидел он у бабушки, а когда вышел из дому, нарочно прошел мимо школы, где учился. Как-то по-новому дорогим увидел он серое стандартное здание. Потянуло зайти туда, но с чем он мог прийти к своим учителям? Только шаг ускорил при мысли об этом.

Поздним вечером добрался он до исправительно-трудовой колонии.

Увидев знакомый забор с вышками по углам, Палкин не испытал радости. Ему даже на минуту захотелось повернуть

обратно. Нет, не в родной дом и не на дармовые харчи шел он сюда. Он шел на труд и лишения, которые едва ли понятны не испытавшему их. Но не было у него теперь и ненависти к колонии, где люди оставались людьми, несмотря на суровую кару закона, и где такие обычные на свободе, но не для всех там обязательные труд, школа, политическая учеба, собрания, строгий распорядок дня, сделаны обязательными для тех, кому они необходимы, как лекарство от болезни, называемой преступлением.

Вот она до боли знакомая вахта. Сюда его привезли ранним утром в тюремной машине под конвоем. Все его существо сопротивлялось тогда каждому шагу к этой двери, и если бы не конвой, ничто не заставило бы его войти сюда. А теперь он пришел к этой двери сам.

Он потоптался с минуту перед воротами, потом нажал кнопку звонка. Лязгнул засов. Можно было открыть дверь и войти, но он медлил. Руки и ноги онемели, голова кружилась. Не было сил, чтобы переступить порог.

— Кто там? Входите, — раздался за дверью голос охранника. Однако Палкин не двинулся с места. Тогда охранник глянул в глазок и сам открыл дверь.

— Чего надо? — неприветливо спросил охранник, молодой парень, наверное, одних лет с Палкиным.

— Палкин я, — вяло проговорил Федор, переминаясь с ноги на ногу.

— Палкин!? — выкрикнул солдат и захлопнул перед ним дверь. Он явно испугался.

Через минуту дверь снова открылась, и вышел сержант, знакомый Палкину.

— А-а! Сам пожаловал, — обрадовался сержант. — Ну, проходи. Сейчас доложу майору. — И он пропустил Палкина в проходную.

Вскоре Палкин стоял перед майором в его просторном кабинете, чисто вымытом и жарко натопленном. Стоял, опустив глаза и зажав в руке шапку. Одним только уголком глаза он заглядывал на стол начальника: не лежит ли там его письмо. Но на столе не было ни одной бумажки.

— С благополучным прибытием вас, гражданин Палкин, — тихо, без улыбки проговорил майор. И хотя в голосе его явно улавливалась ирония, он не предвещал Палкину ничего доброго. Палкин знал: так майор разговаривает тогда, когда злится. Уж лучше бы он кричал. Ему, наверное, здорово попало от начальника за Палкина, которому он поверил

и которого выпустил за зону. Лицо у майора было усталое, глаза недобро поблескивали из-под седых бровей. Нет, он, конечно, еще не получил письма. Тогда он, наверное, был бы добрее.

— Ну, что же — молчать будем? Расскажите о ваших похождениях, — продолжал майор после паузы. Он, конечно, думает, что Палкин за эти шесть дней еще наломал дров. Надо говорить, надо рассказать майору все, он поймет. Но как начать? Вот если бы письмо пришло...

— Виноват я, гражданин начальник, — выдавил, наконец, Палкин, — только теперь я понял...

— Ну, расскажи, расскажи, что ты понял, — сказал майор. И от того, что он перешел на «ты», Палкину вдруг стало легче, как будто где-то внутри отпустили тормоза. Он смело взглянул в глаза майору и начал. Он рассказал ему все: и как бежал, и как встретили его родные и знакомые, и что он видел в городе, и что передумал и перечувствовал за эти шесть дней. Не забыл он и о той злосчастной сумке с продуктами, и о часах, которые давным-давно снял с руки пьяного в городском саду, и об аккумуляторе, и о всех других преступлениях, которые совершил и которые не были раскрыты. Он говорил и чувствовал, что ему все легче и легче становится дышать. Рассказывал и видел, как теплеет взгляд майора. Майор верил ему! Верил, несмотря на то, что он подвел его, обманул, совершив побег. И ничего на свете не было сейчас для Палкина дороже этой веры.

— Да ты садись, Палкин, — спохватился майор, когда тот окончил свою исповедь, — садись, Федор. Видно, правду говорят: нет худа без добра. Очень хорошо, что ты пришел сам. Но последнее слово должен сказать суд. Ты так все и расскажи суду, как рассказал мне. Договорились?

— Так и расскажу.

— А теперь иди. Иди в свой отряд, расскажи товарищам. Еще есть у нас такие, до которых не доходит то, что ты понял. Есть еще...

* * *

Эту незамысловатую хотя и не совсем обычную историю узнал я на суде, который рассматривал дело о побеге заключенного Федора Палкина и о его не раскрытых ранее преступлениях. На суде фигурировало и письмо Палкина начальнику колонии, пришедшее через день после его возвра-

щения. В качестве свидетелей были вызваны Николай Левушкин и брат Палкина — Василий. Суд проходил в клубе колонии, переполненном заключенными. Некоторые из них выступали перед судом.

Рассмотрев это дело, суд счел возможным ограничиться в отношении Палкина той мерой наказания, которая была назначена ему ранее.

Думаю, что суд не ошибся. Пройдет год, может быть, два, и Палкин обретет подлинную свободу, свободу честного советского человека, с открытой душой и душего к людям, верящего в них и дорожащего их доверием.



ОГЛАВЛЕНИЕ

День первый	3
День второй	8
День третий	16
День четвертый	23
День пятый	31
День шестой	40



Монахов Вадим Иванович

„ПОНЯЛ“



Редактор В. М. Чпкул
Обложка художника Ю. М. Вечерского
Художественный редактор И. Ф. Федорова
Технический редактор Н. М. Тарасова
Корректор Н. Н. Квартальнова

Сдано в набор 29/I 1964 г.
Подписано в печать 26/III 1964 г.
Формат бумаги $84 \times 108^{1/32}$. Объем:
физ. печ. л. 1,5; усл. печ. л. 2,4;
Учетно-изд. л. 2,36. Тираж 100000 экз.
А-04697. Цена 5 коп. Заказ 90.
Объявлено: тем. план Госюриздата, 1964,
№ 137.

Издательство «Юридическая литература»
Москва, В-64, ул. Чкалова, 38—40.

Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
«Главполиграфпрома»
Государственного комитета
Совета Министров СССР по печати.
Измайловский проспект, 29.